

Мать -  
и -  
мачеха



ВЕРА  
ДМИТРОЧЕНКО

# Вера Юрьевна Дмитроченко

## Мать-и-мачеха

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=40275717](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=40275717)*

*ISBN 9785449617279*

### **Аннотация**

Перед нами книга, читая которую мы не только погрузимся в увлекательные истории из второй половины советского двадцатого века, но и вместе с автором попытаемся разобраться в своих отношениях с родителями и со страной.

# Мать-и-мачеха

Вера Юрьевна  
Дмитроченко

© Вера Юрьевна Дмитроченко, 2019

ISBN 978-5-4496-1727-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Предисловие

Повесть Веры Дмитроченко «Мать-и-мачеха» относится к достаточно молодому, но набирающему популярность жанру современной литературы – документальной прозе. Это литература, в которой сюжетная линия строится исключительно на реальных событиях, с редкими вкраплениями художественного вымысла. Биографии, мемуары, описания исторических событий, дневники и другие тексты, где действуют не вымышленные персонажи, а реальные люди, – все это примеры документальной прозы, где авторская точка зрения проявляется в отборе и структурировании материала, а также в оценке событий. Документальная проза отличается воссозданием яркой, живой картины реальных событий

и психологического облика людей.

Чем объясняется интерес к этому жанру?

В наше время реальность опережает фантазию. Воспоминания, подлинные впечатления, свидетельства оказываются увлекательнее любого вымысла.

В новой отечественной литературе немало примеров документальной прозы. Читая такие тексты, можно представить, какое влияние оказывал постоянно менявшийся советский проект на людей, на трансформацию их идентичности и моделей восприятия действительности, чем для них был опыт террора, войны и массового переселения в города.

События повести «Мать-и-мачеха» происходят во второй половине двадцатого века и охватывают большой временной отрезок: хрущёвская оттепель, брежневский застой, перестройка, Новейшее время. Автор почти не касается политических событий. Повествование сосредоточено на глубочайшем психологизме и хрупкости отношений дочери с матерью, вернее, с удочерившей ее мачехой.

На фоне этих женских взаимоотношений отчетливо проглядывает советский мир двадцатого века, с его посттравматическим синдромом, надеждой, болью и осознанием судьбы.

*Ольга Столповская*

**1**

В шесть лет я узнала, что родители у меня не родные,

а приемные. Узнала случайно. Родители возле открытого окна выясняли отношения. Мама обвиняла отца в том, что он вдруг решил отправиться на поиски новых приключений, а ведь, если он помнит, взять ребенка из детского дома – это был полностью его проект, а теперь она одна должна все расхлебывать?..

Тем более что ребенок как был с самого начала волчком, так и остается, ничего не меняется. И других проблем у ребенка куча: к логопеду надо водить, с холециститом надо что-то делать, а мама ведь только-только с таким трудом устроилась на работу, и кто ее будет то и дело отпускать с работы?.. В таком духе родители долго препирались, естественно на повышенных тонах.

Еще я расслышала, что детдом, из которого меня взял отец, был для глухонемых детей и до трех с половиной лет я не разговаривала. Этого я совершенно не помнила.

В тот момент я играла в классики с соседской девочкой буквально под окнами нашей комнаты, и мне было очень неловко перед ней оттого, что у меня все «не слава богу».

Потом я еще долго слонялась по двору, переваривая информацию, которая на меня только что свалилась, и неожиданно увидела отца – какого-то скомканного, ссутулившегося, с совершенно нелепым узелком в руке, которого он, похоже, стеснялся. Я б тоже стеснялась.

С мамой отец всегда выглядел таким суперменом, постоянно шутил, вечно что-то конструировал и мастерил: то при-

емник, который в послевоенные годы, когда ни у кого ничего не было, казался «круче не бывает», то диван, верой и правдой прослуживший маме аж до ее смерти. А сколько отец еще всякого-разного сделал, не столь впечатляющего, но тоже необходимого, вообще не счесть.

Поэтому, увидев такого помятого отца, я даже не сразу сообразила, что это именно он. А когда идентифицировала его, то с любопытством стала рассматривать женщину, к которой отец, еле волоча ноги, подошел. Впрочем, слово «любопытство» не отражает и десятой доли тех моих чувств. Я совершенно не понимала, как можно было мою элегантную маму променять на такую простую-простую тетку?..

Из всего случайно услышанного, а потом и увиденного самым обидным было то, что мама считала меня волчонком. Я и в самом деле каждый раз вздрагивала, когда она меня пыталась гладить по головке, и будто каменела, когда она обнимала. Я видела, что другие дети в подобных ситуациях не вздрагивают и тем более не каменеют. Не понимая, в чем дело, я чувствовала себя виноватой, но ничего не могла с собой поделать. Хоть в этом вопросе случайно услышанное знание могло примирить меня с самой собой. Но конечно, этого было недостаточно, чтобы унять мою обиду на родителей: зачем они так громко выясняли отношения?

Как и во все времена, подобные скандалы происходят постоянно и повсеместно, обвинения банальны и бесполезны, но зачем-то обязательно должны быть выкричаны со слезами

на глазах – и в результате стать достоянием общественности.

Тонкие фанерные стенки, которыми были разгорожены на клетушки-комнатки огромные залы бывшего барского особняка, в котором мы жили, защищали частную жизнь людей лишь постольку-поскольку. Даже разговор вполголоса через день-другой становился темой для обсуждения на нашей коммунальной кухне, если, конечно, было что обсуждать. А такие подробности, которые мама сгоряча нашвыряла в отца, для так называемой общественности стали любимой темой очень надолго.

Впрочем, в комнате, в которой мы жили, все стены были капитальные. Услышать моих родителей мог лишь кто-то, оказавшийся в тот теплый вечер у соседнего распахнутого окна или как-то по-другому. Главное, слышали.

Нашу коммунальную квартиру населяли в основном одинокие училки. Их было много, больше десятка, и когда я утром прибегала на кухню чистить зубы, здороваясь с ними, надо было называть их непременно по имени-отчеству. Это было первое задание, с которым я с трудом справилась, когда мы приехали в Москву. В народе наш дом так и называли: «учительский». Бабушка была учительницей, и незадолго до приезда моего отца с мамой и мной она как раз и получила эту комнату на двоих с сыном, папиным братом. Еще в нашей коммунальной квартире жили четыре полноценные семьи. Пятыми были мы. После ухода отца мы перестали быть полноценной семьей и заняли какое-то промежуточное

положение, что-то вроде, ни то, ни се...

Нас некому стало защищать. А надо бы! Это я очень быстро осознала. Мама была как кость в горле у всех этих молодых одиноких теток. При этом любая из соседок тоже могла взять ребенка из детского дома. Но страшно: вдруг что-либо не заладится, пойдет не так, как мечталось. Жизнь же всегда непредсказуема! Многих это пугает. Но не маму. Мне тоже пришлось учиться и бесстрашию, и стойкости. Потому что едва мама уходила на работу, я оставалась одна, и соседки, как бы разговаривая между собой, оценивали: как я буду смотреться на панели, когда подрасту?... «Ты хоть знаешь, что ты детдомовская и твоя мать – шалава?» – это они уже ко мне обращались.

Я отмалчивалась. Хотя мама строго-настрого мне наказывала с соседями быть вежливой, тем более что они учителя, и вообще, старше.

Но я продолжала делать вид, будто не ко мне обращаются.

И когда соседки говорили, что, мол, пальцы у меня вон какие длинные и тонкие, у меня получится стать отличной воровкой, дескать, яблоня от яблони... «Ты хоть знаешь такую поговорку?» Мне было досадно, что зачем-то я научилась говорить. Ведь считали же меня глухонемой, пускай и дальше продолжали считать, тогда точно никто бы не приставал.

Но они приставали. Не все, только две. И еще одна, когда она твердо знала, что ее никто, кроме меня, не слышит. Но я шарахалась ото всех. Даже мимо тети Симы я очень долго

норовила пролететь сквознячком, хотя всегда, когда рядом с ней оказывалась, она говорила что-нибудь очень лестное для меня.

Тетя Сима была в молодости свистуньей. Был когда-то такой эстрадный жанр – художественный свист. В моем детстве она уже давным-давно работала редактором в каком-то журнале. Но продолжала постоянно свистеть. Когда она несла на коммунальную кухню свою дежурную курочку в гусятнице и при этом свистела, во всем нашем доме устанавливалась атмосфера какой-то латиноамериканской беззаботности и расслабленности. Иссохшие от угрюмого одиночества соседки, привыкшие к своим скучным сосискам или макаронам с сардельками, от тети-Симиного свиста начинали суесться и изобретать, как бы и им внести разнообразие в свое уже поднадоевшее меню, и вспоминали про свои давно куда-то заткнутые специи. На кухне все эти ароматы как-то причудливо перемешивались под художественный свист тети Симы. Я очень любила такие мгновенья.

Еще у тети Симы был красавец муж, фотограф, и сын на три года младше меня. Сын сильно заикался. Видимо, в их семье тоже происходили нешуточные разборки. И было понятно какие. Но тетя Сима никогда вида не подавала и всегда была лучезарна. Она постоянно зазывала меня в гости, чтоб я играла с ее сыном Гошкой. При мне он почти не заикался. Впрочем, чаще всего мы с Гошкой играли в шахматы, молча и лишь сопя от азарта. Я всегда с удовольствием соглашалась

на приглашение и часто проводила у них целые вечера.

Удивительно, но тетя Сима была всегда в курсе моих успехов и любила завести о них этакую светскую беседу, а я иногда непроизвольно надувала щеки, но еще чаще смущалась. Однажды она меня поразила тем, что, оказывается, знает номер моей художественной школы, к которой ни она сама, ни ее сын никакого отношения не имели. Это, кстати, всегда очень меня удивляло. Ведь в нормальной еврейской семье мальчик должен был хотя бы на какой-нибудь скрипочке пикивать. Тем более что у тети Симы было музыкальное образование. Но их сын не пикивал. А я, конечно, не спрашивала почему. Потому что не мое это дело... Я вполне довольствовалась тем, что в присутствии тети Симы на меня никто не шипел. Я ведь отлично знала, чего соседки от меня добируются. Они хотели, чтобы я начала у мамы выпытывать про свое происхождение.

Но о себе я знала даже больше, чем хотела.

Я уже вполне осознавала, что именно мамиными стараниями в конце концов научилась говорить внятно и понятно. Ни на каких промежуточных результатах она не могла остановиться. Ее ребенок должен изъясняться уж во всяком случае не хуже других! Она была максималисткой.

Папа был проще. В те годы отцы вообще не заморачивались воспитанием и образованием своих детей. Видимо, это считалось немужским делом. Но однажды он взялся отвести меня в детский сад и по дороге тоже решил внести свой вклад

в мое образование. В то время мне все никак не удавалось научиться выговаривать «р». «Давай мы с тобой такой договор заключим: ты говоришь „р“, а я тебе покупаю шашки». Я немедленно схитрила и произнесла «рак» и «рыба» с помощью горла. Отец был счастлив от такого быстрого результата. Когда мы с мамой вернулись вечером из детского сада, на своем топчанчике я увидела шашки. Глаза мои засияли! При этом стало абсолютно ясно, что необходимо как можно скорее научиться правильно выговаривать чертову «р», потому что это у отца нет никакого слуха, а у мамы слух абсолютный, и с ней моя хитрость не прокатит. Мне повезло, буквально через пару дней и этот рубеж был мной преодолен! Отец был доволен своим педагогическим талантом, мама счастлива тем, что я наконец стала как все дети. А я была рада тому, что они оба рады.

Это были последние дни перед тем, как он от нас ушел.

Теперь, оставшись с мамой вдвоем, я уже твердо знала: что бы мне ни говорили соседки, до мамы это не должно дойти никогда.

Видя напрасность своих стараний, соседки поменяли тактику. Они начали следить за мной из окна и, взяв за основу увиденное, присочинять какие-нибудь гадкие небылицы, например про то, что я плевала в каких-нибудь девочек. Мама, естественно, пыталась выяснить: с чего это я вдруг?.. А я лишь глядела исподлобья. Было обидно, что она верит кому ни попадя, что такого плохого мнения обо мне...

К тому времени я уже была вполне как все. Что-то у меня получалось лучше, что-то – хуже. Как у всех.

Разумеется, и пай-девочкой я не была. Моя врожденная неосторожность часто заносила меня в такие дебри, из которых крайне сложно было выкарабкаться пристойно. Бывало, приходилось утешать себя тем, что ноги удалось унести. До сих пор о многом стыдно вспоминать. А память, увы, цепко держится за все те несуразности, будто это какой-то особый личный золотой фонд, который необходимо хранить вечно. Словом, мне было что от мамы скрывать. Но она меня ни о чем обычно и не спрашивала. И времени у нее для этого не было, да и сил, наверное, тоже. Но соседки, которые со сладострастием пытались вбить клин между мной и мамой, время на меня находили. Придумки, сообщаемые маме обо мне, становились все противней. Я попала прямо-таки под перекрестный огонь, когда своих нет ни с какой стороны. Однажды мама даже в сердцах замахнулась на меня. Я увернулась и несколько дней с ней не разговаривала. Мне понравилось, какой мама вскоре из этой ситуации нашла выход.

В то время я пила таблетки под названием «акрихин» от холецистита. Это были невероятно горькие таблетки. Ну чистая горечь! Я их пила три раза в день. Без напоминаний. Ведь надо же было хоть кому-то верить и чему-то беспрекословно следовать. А раз надо, значит, надо. Может быть, именно этими таблетками я сумела выработать в себе потрясающую самодисциплину, которая потом мне очень приго-

дилась, когда я увлеклась математикой. Ведь математиков без самодисциплины не бывает, потому что им надо уметь подолгу удерживать в памяти последовательность промежуточных выводов, а этого можно достичь лишь постоянными тренировками.

Привыкнуть к акрихину нельзя было никогда. И вот мама во время моего очередного подвига как бы из любопытства положила себе на язык одну из таблеток и тотчас выплюнула.

– Ух, – говорит мама, – какая горечь! Теперь я понимаю, почему тебя бесполезно бить и наказывать. С такой горечью никакое наказание не может сравниться.

Мы помирились. Как-то сами собой определились границы, которых и я старалась придерживаться – и она тоже.

Заодно эту историю мама с юмором и в красках рассказала на нашей коммунальной кухне. В конце концов от меня все отстали. Жизнь, как говорится, начала налаживаться.

Но увы, никакое счастье не длится долго, особенно в детстве, когда перемены декораций происходят с невероятной скоростью и не успеваешь крутить головой, чтобы за ними уследить. Любая неосторожность может повлечь непредсказуемые последствия.

А история случилась такая. В тот вечер мы с девочками по обыкновению играли в классики. То есть я прыгала, а девочки стояли рядом и следили, чтобы я не заступила за границы расчерченных мелом квадратов. В какой-то момент я неловко взмахнула рукой, чтобы не потерять равно-

весие, и чиркнула по щеке стоящую рядом девочку. Несильно, но несколько капелек крови все же проступило. Мы все тотчас же бросили прыгать и полезли наперебой со своими советами. Мы же страна Советов!

Все это время мама пострадавшей девочки расчесывала волосы у окна и наблюдала за нами. Она тотчас выскочила во двор с расческой в руке и развешиваясь, как у ведьмы, волосами, схватила за руку свою дочь и, велев мне следовать за ними, решительно направилась к моей маме. И вот в таком составе, во главе с обезумевшей соседкой, размахивающей расческой, ее дочерью, вяло протестующей против того, что ее мамаша вот-вот учинит, и мной, будто в рот набравшей воды, мы предстали перед моей мамой.

С места в карьер, безо всяких объяснений совершенно свихнувшаяся тетка потребовала от мамы, чтобы та меня избила прямо сейчас и прямо у нее на глазах. Мама в надежде, что я хоть что-то объясню, замешкалась, но та пронзительно завизжала: «Я требую, требую, чтоб немедленно, а то...»

Мама, похоже, поняла, что это за «а то». Я тоже поняла. У меня на глазах эта ведьма маму нагло шантажировала, и ни я, ни мама не знали, как из этой ситуации достойно вывернуться. Я видела, что мама боится разрушить то хрупкое равновесие, которое ей с таким трудом удалось установить и которым мы обе наслаждались последние месяцы. Помочь я ей могла только одним: стойко перетерпеть экзекуцию.

Взяв отцовский ремень, мама несколько раз меня хлест-

нула. Я смолчала.

Но соседка заревела: «Еще!»

И мама послушно стала хлестать меня дальше. Пришлось молча стиснуть зубы.

Можно было бы заплакать, закричать от боли. Но доставить такое удовольствие соседке? Ни за что!

Тогда мне еще не приходило в голову, что стоило бы научиться разыгрывать короткие сценки, которые часто помогают разрядить любую обстановку. Но до этого искусства я, видимо, еще не созрела.

Через неделю у девочки, которую я нечаянно задела, все царапины на щеке исчезли. Я с мамой из-за этой истории ссориться не стала, чем поставила ее в тупик. Она перестала меня понимать, и мы начали жить, все больше и больше отдаляясь друг от друга.

## 2

В то время мы жили как сельди в бочке в одной комнате с папиной мамой, Ксенией Николаевной, и двумя братьями моего отца, Евгением Александровичем и Шуркой. Евгений Александрович вернулся из армии спустя год после нас. Он был младшим из трех братьев, но сразу поставил себя так, чтобы все его именовали исключительно по имени-отчеству. В то время в армии служили три года. Евгений Александрович за это время успел жениться и приехал с красавицей Эль-

вирой и только что родившейся дочерью Наташкой. Бабушка, поняв, во что превращается ее совсем недавно шикарная комната, никакого пиршества по поводу возвращения сына устраивать не стала. Но коляску Наташке, конечно, купили. Со временем, когда Наташка перестала помещаться в ней, ей попросту прорезали для ног в задней стенке коляски дырку и приставили табуретку.

Шурка был старше Евгения Александровича, но почему-то никто никогда его по-другому не называл. Он всегда с большим вкусом одевался, даже дома носил дорогую рубашку, а не какую-нибудь несвежую майку, как большинство мужиков в те годы, включая, между прочим, и Евгения Александровича. Шурка был самым красивым из братьев. Увы, в юности он угодил под трамвай и лишился глаза и ноги выше колена. Но это нисколько не мешало ему постоянно менять женщин: то одна несколько месяцев у нас поживет, то другая несколько дней. После того как мой отец скрылся за горизонтом, бабушка велела Шурке наконец определиться и жениться, чтобы нас не сняли с очереди на человеческое жильё. Претендовать на дополнительную площадь можно было только в том случае, если у семьи было меньше двух квадратных метров на человека. Как бы странно это ни звучало, тем не менее, к счастью, у нас было меньше этих двух квадратных метров. В Москве в те годы подобная плотность не была редкостью. Именно в таких бесчеловечных условиях послевоенная волна «понаехавших» ковала свой столичный

статус. При этом у меня был свой личный топчанчик, единственным минусом которого была щель между ним и диваном, на котором спал Шурка, и именно в эту щель он на ночь ставил свою деревянную ногу. Нога эта, как и все у Шурки, была очень хорошего качества, ну прямо как настоящая, и если я утром просыпалась не на том боку, то спросонья у меня все внутри опускалось от ужаса, когда я утыкалась носом в эту ногу. Но я не жаловалась, потому что бабушка вообще спала на раскладушке. Каждый вечер ее раскладывала, а утром собирала. К тому же Шурка меня фотографировал. Мне это нравилось. Как и большинство пижонов того времени, он увлекался фотографией. Это было весьма дорогим удовольствием, но пижонство – на то оно и пижонство, чтобы сверкать всем самым-самым. Снимки чаще всего были постановочными: то указательный пальчик к щечке, то газовая косыночка в горошек на голове... От того времени остался ворох этих фотографий. Я долгое время считала, что Шуркино увлечение фотографией никогда не могло бы стать искусством, потому что он понятия не имел о таких вещах, как концепция, сверхзадача и тому подобное. Казалось, Шурка просто щелкал и щелкал. Но когда я начала рассматривать эти фотографии сейчас и сравнивать их с редкими снимками из фотоателье того же периода, сделанными для документов, то должна покаяться: грешна, сверхзадача у Шурки однозначно была! На всех снимках из фотоателье у меня сжатые губы, колючий, недоверчивый взгляд – словом, вид та-

кой, словно я в гестаповских застенках, которые в кино показывают. А на Шуркиных снимках у меня всегда сияющие глаза. Потому что те фотосессии были чем-то вроде терапевтических сеансов, во время которых я училась быть лучезарной, а мои губы – счастливо улыбаться.

А у взрослых тем временем от постоянной тесноты сдавали нервы. Но они старались терпеть, ненавидя друг друга молча. Не желала терпеть лишь бабушка. Мне это казалось странным. Ведь даже я знала про бабушкино происхождение, что мать у нее – немка из Кенигсберга, баронесса Амалия Рудольфовна фон Канн. В кровожадные сталинские времена это было тайной за семью печатями, ни одной семейной фотографии ни у кого не сохранилось. А в вегетарианские хрущевские годы людям захотелось вспомнить свою родословную. Ведь не только огурцы без корней не растут. И какие-то проговорки про канделябры и люстры и про чудо какую лестницу на второй этаж их прежнего дома начали изредка проскакивать. Поэтому, когда бабушка устраивала свои отвратительные представления, я недоумевала: она в детстве и юности наверняка вполне успела насладиться и немецким порядком в своей семье, и баронским своим превосходством перед теми, у кого голубая кровь пожиже. Могла бы и стойкость проявить, и терпение... Даже, пускай презрительно, скривить губки на окружающее ее русское свинство, но молча. Нет!

Именно бабушка затевала все склоки, подзуживала сыно-

вей против их жен, а жен против моей мамы. Каждый раз это заканчивалось перепалками, в которых уже никто не выбирал выражений, а если это оказывалось недостаточным, в ход шли столовые ножи, вилки и тарелки.

Уловить момент, когда разразится очередной скандал, было невозможно. Бабушка была совершенно непредсказуема. Если я, по счастливой случайности, во время зарождения цунами оказывалась на улице, было еще хуже. Окружающие начинали на меня смотреть с презрительным сочувствием. Некоторые взрослые запрещали своим детям со мной играть. К тому времени я уже научилась к этому относиться почти равнодушно, потому что вполне освоила искусство дружить с самой собой. Но все равно приходилось опускать глаза и бочком-бочком уходить куда-нибудь подальше.

В моем описании бабушка Ксения Николаевна выглядит, конечно, совершенной мегерой, но ко мне бабушка относилась хорошо. Когда Евгений Александрович, мужик не очень большого ума, услышал на кухне разглагольствования о моих длинных тонких пальцах и захотел развить эту тему при бабушке, та так на него зыркнула, что Евгений Александрович аж подавился, и все по очереди били его ладонями по спине, а бабушка – так даже кулаком.

Ксения Николаевна преподавала в младших классах. Естественно, при моем появлении она сразу же начала присматриваться, с какой бы стороны ей включиться в мое воспитание и образование. Как только меня стало мож-

но не стесняясь предъявлять народу, бабушка повела меня в свою школу на елку, и там я в наряде снежинки прочла стихотворение «Когда был Ленин маленький, с кудрявой головой...» По-видимому, мое первое публичное выступление оказалось удачным, и мы с бабушкой вскоре отправились в кино. При первом же появлении на экране Бармалея крупном планом я в ужасе сползла со своего кресла и просидела весь сеанс в проходе. Искусство кино оказалось для меня чрезмерным. Пришлось сделать паузу. Когда пришло время записываться в первый класс, бабушка выдала мне тетрадку с палочками и крючочками, и я каждый день ей показывала, что и как сделала. Я очень старалась – и к школе оказалась хорошо подготовленной. Поэтому нет ничего удивительного в том, что я с самого начала была отличницей.

В общем, с бабушкой мы вполне ладили. Все взрослые с утра отправлялись на работу, и мы с ней оставались вдвоем. По ее поручению я бегала в магазин за молоком, а она следила, чтобы, прежде чем уйти гулять, я сделала уроки. А то с меня станет...

Однажды, учась уже во втором классе, я вдруг не смогла решить задачу. А в окно меня уже звали: «Верка, выходи!» Я – к бабушке: «Помоги!» Бабушка прочла задачу и сказала: «Думай!»

По-видимому, формулировка задачи оказалась нестандартной, и надо было напрячь мозги, чтобы понять, в чем там дело, а в окно кричат: «Верка, ты скоро?..» И мозги, ко-

нечно, напрягаться не думают. Тогда я бабушку уже умоляю помочь, а она снова свое непреклонное: «Думай!»

Наверное, я целый час эту задачу мусолила и так и сяк, пока наконец не сообразила, как ее решить. После того как я записала решение задачи и бабушка похвалила меня, мол, молодец, у меня аж голова закружилась от счастья. И гулять я после этого не сломя голову помчалась, а с достоинством вышла на крыльцо, посмотрела вдаль...

Блаженное состояние еще долго оставалось со мной.

Одним словом, именно бабушка Ксения Николаевна в тот день вручила мне золотой ключик от дверцы, за которой таился восторг. Щелк-щелк – и вот оно, счастье! И я с тех пор начну зависать над каждой заковыристой задачей, и никто больше не посмеет назвать меня бестолковой. Впрочем, к тому времени меня уже давно никто не называл бестолковой. Обида, засевшая в моей памяти со времен младших групп детского сада, то и дело еще всплывала, но все менее больно и горько.

### 3

Но я все-таки вернусь в те дни, когда отец не захотел себя ломать, так ему захотелось новых ощущений. Я потом иногда вспоминала ту тетку, к которой ушел отец. Она, это было видно, как говорится, невооруженным взглядом, ждала ребенка, причем скоро. То есть отношения с отцом у нее сло-

жились задолго до того черного дня для моей мамы. То, что отец поступил так, а не иначе, ни у кого не могло вызвать осуждения. «Не сдрейфил», «Взял на себя ответственность», «Поступил как настоящий мужик»... Словом, все народные присказки на стороне отца. А это глупое «предатель, изменщик... ты нас предал»... даже мама ни разу не произнесла, хотя подстреленность во взгляде у нее была еще очень долго. Конечно, мама была мудрой женщиной и глупостей не говорила даже в запальчивости. Отец ей вечно в рот смотрел, каждое ее слово ловил. Но она была намного старше отца. Настолько старше, что я даже не хочу это озвучивать. До рекордов А. Пугачевой ей, конечно, далеко, но, учитывая послевоенное время, когда даже за самых убогоньких мужичонков женщины бились насмерть, мамин рекорд можно считать фантастичным.

Но все же что случилось, то уже случилось. Надо было жить дальше. Не думаю, что если бы не наличие меня, мама от такого удара разнюнилась. Это было не в ее характере. Но я тем не менее была и требовала заботы и внимания. К счастью, к тому времени я уже нормально говорила, была сообразительной, и меня уже можно было несколько не стесняться.

Так что у нас с мамой получилась слаженная команда, и она меня вовлекла в кучу самых разнообразных дел. Была осень – пора, когда все квасили капусту. Отец оставил нам самодельную дубовую кадку, и несколько воскресений я учи-

лась шинковать капусту тонкой соломкой. Потом наступил черед варки айвового варенья. Чистить айву – это было занятие точно не детское. Когда мои пальцы покрылись волдырями, мама выдала пластырь, чтобы я заклеила их и продолжала ей помогать. Я не могу объяснить, почему мама меня тогда не пожалела. Но я чувствовала ее жгучее женское отчаяние, которое любую здравую мысль тут же доводит до абсурда, и поняла, что уместнее всего в подобной ситуации быть аки мышка, тихой и смирной. Тем более айвовое варенье мама варила очень вкусное.

Когда грянули морозы, возникла проблема с дровами.

В нашем доме было печное отопление. Роскошную голландку надо было каждый день топить. Разумеется, никто нас с мамой не освободил от заготовки дров. Сколько-то кубометров мы должны были в общий семейный котел предъявить. До ухода отца мама особенно не вникала во все эти дровяные тонкости, а лишь изящно подкидывала в топку полешки. Когда встал вопрос, какие дрова покупать, она купила полутораметровые бревна. Это было намного дешевле, чем покупать готовые поленья. И вот мы с мамой каждое воскресенье с утра пораньше шли пилить эти бревна двуручной пилой, а потом мама их колола. В наш адрес то и дело отпускались разные колкости. Мама легко отшучивалась. У нее это здорово получалось. Но я все равно решила ее спросить:

– Почему одни только мы пилим?..

Мама объяснила:

– Потому что на колотые дрова нет денег.

И пообещала, что к следующей зиме она позаботится о дровах заранее.

Я ходила уже в старшую группу детского сада и с нетерпением ждала, когда же мама наконец найдет время пойти со мной записываться в школу, а вместо нее однажды теплым майским днем в детский сад за мной пришел отец, чтобы отвести меня на экзамен в художественную школу. До этого никаких разговоров о художественной школе мне не приходилось слышать, но почему-то и удивления своего я не запомнила, так же как и радости от встречи с отцом. Но кажется, он был доволен тем, что я не встретила его в штыхи. Поэтому, как только мы с ним вышли из детского сада, он стал рассказывать мне, что его папа был художником, что это его картина висит у нас в комнате над дверью... и что мне не надо волноваться, выдержу ли я конкурс, потому что в детском саду меня хвалят за рисунки. Я молча слушала.

Для меня не было тайной то, что мой дед был художником. Его картина, похожая на «Грачи прилетели», мне нравилась.

Пока мы с отцом шли до художественной школы, он ни на секунду не замолкал. Уверял, что внимательно просмотрел все мои рисунки за последнее время и уверен, способности у меня определенно есть. Мол, наследственность – великая вещь.

И как мне на это надо было реагировать? До сих пор

не знаю. Но отец врал вдохновенно. И я заслушалась.

Художественная школа была в десяти минутах ходьбы от нашего дома. Это было довольно стильное двухэтажное строение, в котором второй этаж занимала музыкальная школа, а на первом была школа художественная. В нашем дворе все, у кого были деньги на пианино и место в комнате, куда это пианино можно было приткнуть, шли поступать в музыкалку. Это считалось престижным. Поэтому конкурс туда был очень большой, и мало кому сквозь это сито удавалось просочиться. Художественная школа в сравнении с музыкальной была не очень популярна. Желающих поступить в нее было не так уж много, и меня приняли.

Второй раз и последний я видела отца, когда он вскоре после моего поступления пришел к маме для каких-то переговоров. После непродолжительного совместного чаепития меня отправили погулять, а когда я вернулась, отец уже ушел. В тот день он снял со стены шкуру огромного белого медведя, которую они с мамой привезли с острова Диксон, и мама поняла, что отец уже никогда не вернется. От покрашенной масляной краской стены, которую раньше закрывала эта шикарная шкура, всегда стало веять холодом.

## 4

Через несколько лет отец умер. От рака. Совсем молодым. Ему было всего тридцать четыре года. Теперь-то я понимаю,

что за свою короткую жизнь отец успел сделать очень многое. Главное, он сумел найти слова, чтобы убедить мою маму уехать с Диксона. С ним уехать.

Этому все удивлялись, мол, зачем отцу это надо было?

Собираясь на Диксон чинить барахливший электрогенератор, он, конечно, не исключал возможности какой-нибудь ни к чему не обязывающей интрижки. Их в его командировочных разъездах были десятки. И как только отец вылез из самолета, наметанным взглядом он сразу выделил из немногочисленной группы встречающих мою маму, единственную из женщин не в застиранной телогрейке и солдатской ушанке, а в подогнанной по фигуре шубке и в шляпке, надетой поверх оренбургского платка. Выбрав даму, к которой отец был не прочь подкатиться, он, не теряя времени, приступил к штурму и вскоре сам удивился тому, с какой увлеченностью это делает. Разбирая генератор, отец одновременно придумывал, что он вечером скажет маме и как она может на это отреагировать... и если она возразит, то на это у него тоже найдется что ответить!

В общем, слово за слово, отец очень быстро договорился до того, что нечего маме делать на этом унылом Диксоне, где, кроме северного сияния и белых медведей, ничего нет. Таким женщинам нужно жить в больших городах, ходить в театры, на концерты...

Поначалу, говоря подобные слова, отец ничего не имел в виду, просто вырвалось и вполне могло сойти за компли-

мент. Мама действительно, по его представлениям, выглядела «столичной штучкой». А она от рассказов о Москве, о театрах и кинотеатрах потеряла сон.

Я не знаю, при каких обстоятельствах отец и мама признались друг другу в том, что они оба из семей «лишенцев». В те годы люди тщательно это скрывали. Теперь спросить об этом уже не у кого. Поэтому расскажу то, о чем знаю от мамы.

Итак, у ее деда был небольшой, но прибыльный заводик по выделке кож, то есть в небольшом городе Сызрани он был заметной фигурой. Маминому деду повезло умереть за год до октябрьского переворота, поэтому конфискация с контрибуцией его прах уже не смогли потревожить. Заводик наследники хоть и успели продать, но все вырученные миллионы в революционной свистопляске мгновенно обесценились. Когда объявили нэп, мамин отец сумел пристроиться нэпманом. И довольно успешным. Эти несколько лет счастья мама запомнила навсегда. Закончился нэп неожиданно. После нескольких дней массовых арестов нэпманов и облав наконец всенародно объявили об окончании этой затеи. Маминому отцу повезло что-то почуять до начала арестов, и он, бросив все, на первом же товарняке уехал в Среднюю Азию, твердо зная, что в любом бизнесе ценность представляют во все не деньги, а само налаженное дело. Он верил, что после того, как революционные эксперименты наконец закончатся, его организаторский талант снова потребуется. Как говорится, блажен, кто верует. Но мамин отец не только верил,

но и постоянно демонстрировал свои способности. Узбекистан в те годы считался опасным местом. Банды басмачей там постоянно оказывались где-то рядом и советской власти развернуться не давали. В результате этого противостояния в республике поддерживался статус-кво, что вполне устроило маминого отца. Он нашел жилье, временный заработок и сумел послать весточку семье, чтобы они заколотили дом и налегке приезжали. «С собой ничего не берите. Только Христа ради можно добраться до Андижана», – написал он. И они поехали. Мама мне потом рассказывала, как какие-то бандиты их пожалели, посадили в свою теплушку и всю дорогу кормили.

Так начались мамины скитания по окраинам страны. Но Андижан ей сразу понравился. Отец их с дороги накормил пловом и виноградом. Соседи были приветливыми. Только школа оказалась никудышной. Упор в ней делался на изучение русского языка. Для остальных предметов класс разбили на бригады, и на каждом уроке бригада решала, кто будет отвечать. Довольно грамотная мама всегда отвечала по русскому языку, два русских мальчика отвечали на уроках математики и физики, а полученные ими оценки ставили всей бригаде. Результат был предсказуем. Мама за два года учебы научилась запятые ставить не абы как, а по правилам, русские мальчики продвинулись в знании математики и физики, а весь класс получил свидетельства об окончании семилетки с приличными оценками. О дальнейшем мамин-

ном образовании речь не шла. Моя бабушка, Зинаида Сергеевна, с трудом дождалась маминого свидетельства. Семи-летка в начале тридцатых годов давала возможность выбора довольно широкого круга профессий, и Зинаида Сергеевна быстро устроила мою маму чертежницей, хотя то, что мама была из семьи «лишенцев», осложняло эту задачу. К счастью, узбеки умели подобные «обстоятельства» обходить. А грозные снаружи представители советской власти не решались им возражать.

Сама Зинаида Сергеевна о том, чтобы устроиться на работу, не думала, твердо заявив, что «на красных она работать не будет». На бурчанье своего мужа, что не на «красных» эта работа, а чтобы дети не голодали, не реагировала, потому что его мнение ее не интересовало, так как, во-первых, сам он перебивался случайными заработками, а во-вторых, эта на вид хрупкая белокурая дамочка всегда умела добиваться исполнения своих капризов. Словом, маме пришлось смириться. Но она долго не могла забыть, как в Сызрани пела в церковном хоре, и регент постоянно говорил ее родителям, что у их дочери уникальный голос, а потом предложил им свою знакомую преподавательницу, чтобы та занималась с мамой, обещая впоследствии помочь с поступлением в консерваторию. Он не сомневался, что мамино место именно там. И еще регент говорил, что все эти революции и вызванный ими хаос и неразбериха в конечном счете осядут, как пыль, а дар, которым человека наделяет Бог, оста-

нется, потому что дар отнюдь не награда, а долг. Долг перед Богом его реализовать.

В те годы многие заблуждались, подобно регенту, считая революционеров временщиками. Двенадцатилетняя мама об этом не думала. Все ее мысли и мечты тогда были о консерватории. Она даже начала заниматься с преподавательницей, но та вскоре уехала за границу. После этого мамы родители договорились с другой преподавательницей, но она тоже уехала, в Москву. А потом и сама мама вместе с семьей перебралась в Узбекистан и окончательно разминулась со своей мечтой.

И вот, можно сказать, промчалась целая жизнь, за время которой фантастические детские мечты постепенно становились все проще и приземленней и все равно большей частью не сбывались. Но неожиданно прилетает на богом забытый Диксон мой отец со своими рассказами о Москве, Большом театре, зовет ее с собой... И мама отчетливо понимает, что готова на это безумство!

Но увы, у нее был муж, командир дислоцирующегося на Диксоне небольшого погранотряда.

Когда-то, еще в Андижане, их знакомство началось весьма романтично. Ей было семнадцать лет. Она ехала в трамвае, когда в него вошел молодой лейтенант. Русских в те годы в Средней Азии было немного, и она глянула на лейтенанта с интересом. Он тоже посмотрел на маму долгим взглядом, но ничего не сказал, и лишь когда она начала выходить

из трамвая, вышел вслед за ней. Мама была стройной, миловидной, но первым, что в ее внешности всех завораживало, была ее осанка, будто она только что из-за балетного станка выбежала на улицу перевести дух. Мама никогда ни балетом, ни танцами не занималась. Осанка у нее была природная, в отца. Лейтенант немедленно представился, мол, Константином его зовут, и попросил разрешения маму проводить до ее дома, а проводив, он с места в карьер принялся свататься. Сказав, что сейчас у него времени нет даже чаю попить, так как вскоре заканчивается его увольнительная, попросил позволения приехать через неделю. За это время мамы родители должны предложение Константина обсудить и обдумать. А он, вне зависимости от их окончательного решения, привезет продуктовый паек, и если они согласятся на его предложение, Константин с моей мамой зарегистрируют брак и вдвоем уедут. С тем и распрощались. А через неделю расписались и уехали на заставу.

По крайней мере, с маминой стороны это не было любовью с первого взгляда. Но офицеры в России всегда были в цене, тем более русские офицеры в среднеазиатской глубинке. Маминим родителям Константин понравился, против брака они не возражали. Ее мнения никто спрашивал, даже ее довольно продвинутый отец. В Узбекистане XX век еще не наступил, с его феминизмом, революционностью, и вообще, переворотом всего с ног на голову. И нескоро наступит.

После этого мамина жизнь в очередной раз кардинально изменилась.

Таджикская граница в те годы была самой горячей точкой на карте страны. Война с басмачами здесь годами не затихала. Все, кто мог держать ружье, почти все время проводили на стрельбище, учились стрелять, сдавали нормы, но и сдав нормы, продолжали оттачивать свое мастерство, потому что банды басмачей постоянно налетали то на одну заставу, то на другую, убивая всех, кто им подворачивался, без разбору. В любой переделке надо было уметь стрелять, ни секунды не раздумывая, и по возможности метко.

Наши пограничники в то время были ничем не хуже воспитанных в голливудских фильмах ковбоев.

Так или иначе, но в молодости удается привыкнуть к злой войне как к ежедневному быту, удается хоронить убитых друзей и знакомых почти без слез и не сходить после этого с ума. Конечно, это очень плохая привычка. Эмоциональное отупение еще никогда никому не шло на пользу. Но Константин в этой науке преуспел и вскоре возглавил заставу. До него всех командиров, едва они вступали в должность, подстреливали, а маминому мужу везло. Пограничники в него верили. И Константин продержался невредимым целых два положенных срока.

Беда к маме и ее мужу подкралась совсем с другой стороны, неожиданной. Несмотря на нечеловеческий быт, жизнь брала свое. У мамы родились две дочери, и Константин на-

чал добиваться перевода на более спокойный участок границы. Но однажды в партии бутылок с «Нарзаном», использованным для приготовления пищи и для питья, оказалась дизентерийная палочка. Взрослые, перемучавшись, выжили, а для детей эта зараза оказалась смертельной.

Мама никогда мне не рассказывала, как она этот кошмар пережила. Есть то, для чего нет слов в человеческом языке. И не надо их выдумывать.

Назначение на о. Диксон мамин муж получил за несколько лет до начала войны. Они очень рассчитывали на рождение других детей. Но надежды не оправдались. На Крайнем Севере недостаточно для этого кислорода и ультрафиолета, – вынесли свой приговор медики. Жизнь после этого начала терять свой смысл. А потом началась война, долгая, кровопролитная. У многих мужа с нее не вернулись. Мамин муж вернулся. Цел и невредим. Но какой-то тусклый и ко всему безразличный. Злополучные «наркомовские» сто грамм, до которых он по должности имел неограниченный доступ, превратили его в пьяницу. В стельку он не напивался, как говорится, знал меру, но пил каждый вечер. Подобное бытовое пьянство в те годы считалось поти нормой. Никакие мамини демарши не смогли на мужа повлиять. Она даже перебралась в соседнюю комнату. Но Константин и на это никак не отреагировал. Словом, семья фактически распалась. Когда мама заикнулась о разводе, Константин лишь рассмеялся, посчитав это ее очередной блажью. После окончания службы

маминому мужу обещали квартиру в Архангельске, которой он, еще ее не получив, очень гордился. Когда его душа горела и хотелось выпить вдрызг, Константин, сорвав фольговую «кепочку» с бутылки... сразу же зло затыкал бутылку комком бумаги, потому что для того, чтобы получить квартиру, необходимо было удерживаться в определенных рамках.

Мой отец тем временем разобрал и заново собрал мамин радиоприемник, который после этого стал работать очень чисто, без помех, смастерил маме изысканную полочку для разных мелочей и, конечно же, убил белого медведя. В те годы на это запрета не было. Даже наоборот, если с Дальнего Востока все ехали с трехлитровым баллоном красной икры, то с Диксона положено было привозить шкуру белого медведя.

Генератор, из-за которого мой отец прибыл на этот остров, уже был отремонтирован, командировка заканчивалась, отец ждал лишь благоприятной погоды. Поэтому надо было срочно решать проблему с маминим мужем, и мой отец рвался сам с Константином договориться, так сказать по-мужски. А мама не решалась. Не любила окончательных формулировок. Но Константин к этому времени сам понял, что если это и блажь мамина, то весьма серьезная, и полюбому придется договариваться. Он даже согласился на присутствие при этом разговоре моего отца и очень ясно объяснил, что до выхода в отставку развод для него крайне нежелателен, так как из-за этого его могут обойти с квартирой.

Поэтому он просит отложить окончательное решение. Ждать придется недолго. Меньше года. Константин был абсолютно трезв, его просьба была понятной, и мужчины пожали друг другу руки.

Как только погода наладилась, мама с моим отцом и с медвежьей шкурой улетели в Москву. Дальнейший план устройства жизни у отца уже был полностью готов. Он не только приемники с генераторами умел ремонтировать, но и жизни тех, кто был ему небезразличен. Поэтому перво-наперво он предложил маме взять ребенка из детского дома.

Мама согласилась. Она еще не догадывалась, что именно это было ее «болевым точкой», но полностью доверяла моему отцу. Для оформления усыновления надо было отцу с мамой расписаться, а также предъявить нормальное жилье, которого в тот момент у отца не было. Его мама, Ксения Николаевна, жила в то время в небольшой подвальной комнате с заплесневевшими обоями вместе с отцовским братом, инвалидом.

С жильем отец определился быстро: устроился на работу в один из подмосковных совхозов и, как ценный специалист, получил две отличные комнаты в доме, построенном для таких случаев.

Быстро оформить брак оказалось сложнее. Моя мама была против аферы, которую ей предлагал отец. Не получив развод от Константина, она не решалась идти в ЗАГС с моим отцом, хотя для этого нужно было лишь заявить о пропаже

паспорта и через положенное время получить чистый паспорт. По мнению отца, это было плевое дело, а мама тряслась лишь от одной этой мысли. До того момента она никогда не нарушала законы, во всяком случае писанные. Даже улицу переходила исключительно на зеленый свет. А мой отец хотя пресловутое «с волками жить – по-волчьи выть» никогда не формулировал, потому что жить желал по-человечески, но то, что ему мешало так жить, обходил легко. В конце концов он уговорил маму пойти в милицию и написать заявление о пропаже паспорта и сразу после этого начал прочесывать детские дома, пока я, по легенде, сама к нему не подошла и не ткнулась в его колени. Уж не знаю, правда это или нет, отец был известный сказитель, но моя мама ему верила. Да и мне хочется верить.

Словом, в те несколько месяцев, во время которых мой отец встретил мою маму и потом увез ее в Москву, он выглядел безусловным молодцом. В этой истории, конечно, присутствуют скользкие моменты, но даже мамин первый муж, Константин, который мог не на шутку разобидеться и начать мстить, ничего этого делать не стал. После смерти моей мамы я обнаружила его письмо на наш адрес в Новых Черемушках. Банальный почерк Константина меня удивил. Ведь в какой-то момент он был явно любимцем небес, даже пули, как заговоренные, летели мимо него. Но успех и ему не удалось развить. Узнав, что мой отец умер, Константин в письме звал маму в Архангельск. Ответила ли она ему или нет,

не знаю. Но в Архангельск она точно не ездила.

Насколько мне известно, к моему отцу небеса были явно равнодушны. В первом же бою, когда он выскакивал из горящего танка, его скосила автоматная очередь. На меня в детстве эти ровненькие пять шрамов чрез всю его грудь наискосок произвели такое впечатление, что я даже постеснялась спросить: что это? Отец после ранения долго отлеживался в госпиталях. Но битва была известная, на Курской дуге. Победная. И отец получил за нее свою первую медаль. В госпиталях он много что увидел и услышал. Повзрослел. И кажется, помудрел. Ведь у него, как у большинства мальчишек, о войне были детские представления. Когда война началась и все приятели моего отца побежали записываться в добровольцы, он очень хотел быть вместе с ними. Но в тот момент ситуация в его семье была настолько тяжелой, что отец не решился даже заикнуться об этом. За два года до начала войны его отца, художника, арестовали. Кто-то настроил на него донос, будто он на всех углах разглагольствует о том, что «лысого» писать не будет. В результате дед оказался в психиатрической больнице. Это была семейная версия. Для близкого круга. Для остальных мой дед умер от холеры. Но кажется, все обстояло еще хуже: скорее всего, его осудили стандартно, по политической статье, а бабушке предложили отказаться от него, оформив развод, и она, оставшись с тремя детьми, один из которых инвалид, вынужденно с этим согласилась. Так или иначе, Ксению Николаев-

ну с детьми переселили из приличных двух комнат в хорошем доме в сырой подвал и одновременно уволили с работы с объяснением, что не может быть учительницей жена, даже бывшая, подобного субъекта. Оставшись без средств к существованию, бабушка была согласна на любую работу. С большим трудом ей наконец удалось устроиться уборщицей в столовую. Так как к мытью полов она была не очень-то приспособлена, мой отец стал работать с ней в паре. После работы их кормили, и отец набивал за пазуху котлеты и хлеб без всякого стеснения, чтобы порадовать своих братьев. А бабушкина «голубая» кровь не позволяла ей делать то же самое, хотя сына она не останавливала.

В конце 1942 года, во время смертоубийственной битвы за Сталинград, мой отец все же пошел в военкомат. Ксения Николаевна его решение приняла с тяжелым сердцем, но молча, понимая необходимость сделать нечто неординарное, иначе дети могут привыкнуть к той жизни, которая им, к несчастью, выпала.

Отец серьезно подготовился к походу в военкомат, впервые в жизни рискнув подчистить единичку в своем свидетельстве о рождении, тем самым увеличив свой возраст на десять месяцев. Вышло не очень-то хорошо. На просвет подчистка была видна невооруженным взглядом. Но в отличие от 1941 года, когда война только-только началась и советская армия казалась могучей и никем непобедимой, к концу 1942 года от нее остался пшик, и в военкомате

не слишком придирчиво рассматривали документы, мол, хочет парень в армию, милости просим! Отца направили в танковое училище. Все ребята мечтали учиться водить танк или в крайнем случае стрелять из пушки, а отца определили в механики. Поначалу он из-за этого очень расстроился. Но со временем понял, что это его профессия. Ведь он всегда любил железки. А когда научился читать чертежи, ему открылся какой-то совсем другой уровень понимания этого увлекательного дела.

После госпиталя мой отец уже не рвался в герои и на рожон не лез. Тем не менее к окончанию войны несколько медалей его простреленную грудь украсили, и это оказалось очень кстати. Весомое побрякивание медалей открывало после войны многие двери. В результате Ксению Николаевну восстановили на ее прежней работе в школе, поставили в очередь на нормальное жилье, а сам отец нашел хорошо оплачиваемую работу с постоянными командировками по всей стране, что в молодости весьма привлекательно. Более того, посоветовавшись и поспорив с Ксенией Николаевной, отец настоял, чтобы его брат, инвалид, поступал в институт. Правда, на всякий случай не в Москве, а в Загорске, в котором жили близкие родственники, не на дневное отделение, а на заочное. Но главное, Шурка получит диплом, и он откроет ему такие возможности, какие заранее и в голову не придут. Для большей надежности отец взялся в паспорт брата добавить к его фамилии всего одну букровку, чтобы

украинская фамилия звучала по-русски.

По правде говоря, эту историю я собирала всю жизнь. Разумеется, никто ее мне не рассказывал от начала до конца и не мог рассказывать. Но постепенно из случайно услышанных реплик, маминых рассказов, со временем становившихся все подробней и подробней, из рассказов моей сводной сестры, испытывавшей ко мне прямо-таки родственные чувства и постоянно звонившей, эта история в общих чертах сложилась. Когда отец от нас ушел, в отличие от мамы я на него не обиделась. Может быть, это было каким-то моим природным оупением, но жизнь я всегда воспринимала такой, какая она есть, без обольщения, что кто-то меня любил, любил... и вдруг разлюбил.

О смерти отца мама, конечно, сообщила, но на моем присутствии на похоронах она не настаивала, и я в них не участвовала. И я даже была рада этому, так как в то время у меня стремительно начала развиваться фобия на все, что так или иначе связано со смертью. Даже за квартал от магазина «Похоронные принадлежности» мне становилось настолько плохо, что казалось, вот-вот потеряю сознание.

А в тот год, когда я пошла в первый класс, несмотря на все мамины обещания, к зиме, конечно же, ничего не изменилось. Денег продолжало не хватать ни на что. Отец алиментов не платил. И дрова мама снова купила в виде бревен. А вот мужики, постоянно вокруг мамы вертевшиеся, стали

смелее и меня к пилке дров больше не привлекали.

Я по своей невнимательности совершенно не заметила, в какой момент появился дядя Гриша. Иногда я видела, как он колет для нас дрова, но посчитала его одним из прочих...

Но этот высокий кряжистый дядька сразу не встал в один ряд с остальными. Первым делом он расчистил плацдарм, отодвинув своим могучим плечом всех конкурентов. Очень быстро он стал для меня окончательно и бесповоротно Григорием Алексеевичем, нашим ангелом-хранителем. Григорий Алексеевич жил в нашем дворе в соседнем доме. Все ребята считали его сумасшедшим. Я, особо не задумываясь, тоже, хотя никакой неадекватности за ним не замечала. Даже когда в окно его комнаты залетал наш мяч. А это случалось часто, так как именно его окно выходило на ту часть нашего двора, где мальчишки играли в свой футбол, а мы, девчонки, в волейбол и в «вышибалы». Если стекло не разбивалось, Григорий Алексеевич молча выкидывал нам мяч. Но изредка оно все же разбивалось. И пока мы решали, что нам делать: разбежаться или продемонстрировать бесстрашие и готовность отвечать, Григорий Алексеевич выходил к нам и, ни слова не говоря, отдавал мяч в руки именно тому, кто срезал его в окно. От этого особенно всем становилось неудобно. Но другой площадки у нас не было.

А однажды привычный алгоритм неожиданно для нас был изменен. Сначала все было как всегда. Звон разбитого стекла, следом Григорий Алексеевич, но вместо того, чтобы как

обычно отдать нам мяч, он сказал Сашке, виновнику фатального удара:

– Пошли к твоей матери, будем разбираться!

Через десяток-другой секунд и мы, не сговариваясь, заспешили на подмогу нашему неудачливому бомбардиру.

Григорий Алексеевич шел размашисто, следом понуро тянулся Сашка, а чуть поодаль мы, группа поддержки.

– Добрый день, Клавдия Андреевна! – поприветствовал Сашкину мать Григорий Алексеевич, как только Сашка, юркнув в свою комнату, видимо, в двух словах описал матери, как он ну совершенно ни в чем не виноват, и та вынужденно вышла разбираться. На пожелание доброго дня она вдруг как резаная завопила:

– Ах ты гад! Ах ты гнида!

И огрела Сашку ремнем, который держала в руках. Таким тяжелым армейским ремнем с тяжелой пряжкой. Ремень в моем детстве был наиважнейшим воспитательным средством. Дальше ситуация почти мгновенно переросла в сцену из жизни сумасшедшего дома. Клавдия Андреевна размахивала ремнем, визжа:

– Ах ты подлец! Убью!

Сашка, сколько мог, увертывался. Григорий Алексеевич молча переждал этот мощный вулканический выброс. Наконец, когда пронзительность визга начала затихать, Григорий Алексеевич, все это время рассматривавший почти выпавший дверной замок, обратился к нему:

– А что, Александр, у твоей мамы разве нет сына, который бы следил за тем, чтобы в доме все было в порядке?

Сашка обалдело начал тарашиться, а потом, сообразив, наконец мигом слетал за отверткой и начал остервенело завинчивать выпадавшие шурупы.

– Полегче, Александр, полегче... Железо любит, чтобы с ним нежно обращались, – попридержал его Григорий Алексеевич.

И мы, поняв, что Сашка в нашей защите больше не нуждается, помчались на улицу.

– Влип Сашок, – сказал кто-то из ребят, – теперь этот чокнутый от него вовек не отстанет.

Все согласились. Я тоже. Сцена, которую мы только что наблюдали, была не для наших недоразвитых умов.

Позже я узнала, что Григорий Алексеевич преподает математику в каком-то институте. Но для меня тогда это ничего не значило. Наверное, тогда же мама мне рассказала, что жена Григория Алексеевича во время войны была угнана на работу в Германию, и он вывез ее оттуда в качестве жены. Это спасло ее от наших лагерей. Я, конечно, понимала, что те лагеря и мой пионерлагерь – это, как говорится, «две большие разницы». Но насколько большие, я не могла представить.

Наверное, мама неспроста несколько раз заговаривала со мной о Григории Алексеевиче. Но я каждый раз отмахивалась. У меня были свои какие-то очень важные детские за-

боты. А то, что мама мне рассказывала, я очень плохо понимала.

Я особенно не вникала в их отношения. Мама целыми днями работала, а я постоянно заботилась о себе сама. Тогда многие дети так жили. Даже к зубному врачу я научилась записываться самостоятельно и так же самостоятельно ходила терпеть несусветную боль, потому что обезболивающее, которое кололи зубные врачи, на меня совершенно не действовало.

В таком режиме мы прожили несколько лет. Красавица Эльвира, жена Евгения Александровича, сбежала из нашего ада, как супруг ее ни запирали. Ей заранее удалось с кем-то договориться, чтобы к нашему окну подтащили стремянку, и она, выбросив в окно чемодан, на руках с Наташкой спустилась по ней и укатила в свой родной Смоленск.

Через некоторое время Евгений Александрович привел новую жену, Зинаиду, или, как ее все звали, Зинку, потому что она была законченной стервой. Любимым ее развлечением было стравливать людей. Даже бабушка притихла после появления Зинки. Разумеется, со мной она тоже попыталась обсуждать мои длинные тонкие пальцы, видимо с подачи Евгения Александровича, но к тому времени меня уже голыми руками было не взять! Я уже освоила искусство высокомерно удивляться, мол, как это она не стесняется выставлять на показ свой мерзкий характер?

Жизнь не то чтобы начала налаживаться, но мы ее уже научились терпеть.

Эльвире мы с мамой могли только завидовать. Ей было куда сбегать. Нам с мамой бежать было некуда. Да и ад, который Эльвира сочла для себя невыносимым, в действительности никогда не воспринимается таковым слишком уж долго. Всегда находится что-нибудь положительное то в одном, то в другом. Например, я очень гордилась тем, что была в школе отличницей, и когда соседка тетя Сима одаривала меня очередными комплиментами, уже не краснела от неловкости, а была благодарна ее высокой оценке моих успехов. А уж как мне нравились мои стенгазеты, которые я наловчилась делать настолько эффектными, что их до окончания года ни у кого рука не поднималась снять, так и висели рядышком: к 7 Ноября, к Новому году, к 8 Марта и Первомайская, я просто передать не могу! Хотя в этом была польза от моей учебы в художественной школе, и поэтому я туда хоть и без большой охоты, так сказать, без блеска в глазах, но ходила. И еще мы всем двором то и дело бегали записываться в разные кружки и спортивные секции. И меня почти всюду брали. Понемногу позанимавшись то одним, то другим, я на все те занятия и тренировки переставала ходить. Каждый раз казалось, что у меня на это не остается сил. Но потом еще что-нибудь на первый взгляд заманчивое подворачивалось, и поиск себя продолжался. Ведь в детстве нет ничего более увлекательного, чем искать себя.

И вот, когда я уже училась в четвертом классе, маме удалось получить ордер на крошечную комнатку в нашей же коммуналке. Вскоре выяснилось, что на эту комнату выдали ордер еще одним нашим соседям. Это было в духе времени. Сейчас-то я уверена, что подобные трюки не были случайностью, а кем-то продуманной стратегией: чтобы народ не считал себя безгрешным и за каждым числился хотя бы малюсенький чемоданчик компромата. Наглость, называемая в те годы смелостью, приветствовалась. Как говорится: кто смел, тот и съел. Смелее оказался Григорий Алексеевич. Пока мама обивала пороги нужных кабинетов, доказывая, что именно мы самые нуждающиеся, он, не теряя времени, врезал новый замок в дверь нашего нового жилища и перетаскал наши нехитрые пожитки. Я была на седьмом небе от счастья. Комната, в которой я целыми днями наконец-то смогу быть одна, мгновенно меня отделила от всего окружавшего мира, с его дрызгами и косыми взглядами. Я даже каждый раз запиралась, входя в свою комнатенку. На два оборота.

– Ты от кого запираешься? – подсмеивалась надо мной мама.

Я не знала, как ей это объяснить. Похоже, небеса сочли возможным начать испытывать меня счастьем.

Не успела я еще вдоволь нарадоваться нашей отдельной комнате, как новое грандиозное событие нас всех потрясло.

Двенадцатого апреля 1961 года в начале второго урока к нам в класс пришли директор школы, завуч, еще несколько

учителей и торжественно объявили, что наш советский космонавт Юрий Гагарин открыл миру дорогу в космос, и по такому случаю нас всех отпускают с уроков. Мы выслушали эту информацию молча. У нас не было слов. Мы даже не захлопали дружно. От небывалого восторга выскочив из-за парт, мы быстро покидали наши ручки и тетрадки в портфели и побежали. С крыльца школы нам еще удалось услышать удаляющийся рокот самолетов, только что разбросавших листовки с фотографиями Юрия Гагарина. Дворники ожесточенно сметали их с мостовых и тротуаров. Это было обидно. Будто грандиозный праздник прошел без нас. Будто мы явились к шапочному разбору! Но счастье все равно переполняло нас, и мы все равно не могли остановиться, нам необходимо было бежать, на бегу выхватывая то здесь, то там застрявшие, не сметенные дворниками листовки...

Мы бежали молча, чувствуя, как кардинально вдруг изменился мир после полета Гагарина, для описания которого нам срочно потребуются какие-то новые слова, которых еще нет.

Все так же молча мы добежали до Патриаршей. Там на льдине, которая зимой была катком, а летом прудом с лебедями и лодками, сверкая на ярком солнце, были кучами набросаны разноцветные листовки: белые, голубые, ярко-желтые, розовые! Праздник здесь еще не закончился. Не сговариваясь мы, побросав портфели, перелезли через ограду и спрыгнули на плавающую в полуметре от берега

льдину. Напихав за пазуху ворохи листовок, мы попытались с тающей льдины запрыгнуть обратно на берег, но не тут-то было. Лед крошился под ногами, расстояние до берега заметно увеличивалось, и вскоре стало ясно, что сухими из этого приключения нам не выбраться. Тогда кто-то самый отчаянный спрыгнул в воду, и все остальные попрыгали вслед. С нас ручьями текла вода, но это вызывало у нас лишь смех. Похватав свои портфели, хлюпая и чавкая мокрыми ботинками, мы помчались к шестиэтажному дому в нашем дворе, в котором была черная лестница, ведущая на чердак, с всегда распахнутой дверью. На наше счастье, дверь действительно была раскрыта, и подбежав к чердачному окну, мы начали кидать в него листовки, и они кружились, кружились... Мы жаждали продолжить праздник и были счастливы, что нам это удалось! Можно было спускаться вниз и расходиться по домам. Но там стояла дворничиха, проклиная нас последними словами, мол, она все утро подметала, подметала... Конечно, она была права. Об этом никто из нас не подумал. И спускаться расхотелось. А когда мы все же набрались смелости, внизу стояла не только дворничиха, но еще и участковый. Струхнув, мы даже попятнулись. А участковый улыбнулся. Он понял наш бешеный восторг и уговаривал дворничиху не ругать нас, дескать, такое событие ведь...

Не напрасно говорят, что утро вечера мудренее. Ночью сильные эмоции, пережитые накануне, преображаются в слова и понятия. К утру я отчетливо поняла, что началась но-

вая эра. До 12 апреля были мы и фашисты, которых мы разгромили. Прежде мы жили исключительно этим прошлым и очень им гордились. А после полета Гагарина война наконец закончилась, фашисты переместились куда-то на задворки сознания. Остались только мы и американцы, которых мы, конечно, тоже победили 12 апреля, но не разгромили. Соперничество с американцами обещало стать серьезным и долгим, но главное, захватывающим!

Полет Гагарина волшебным образом переместил нашу страну из прошлого, в котором никогда не бывает никаких перспектив, в переполненное планами будущее.

И я захлебнулась в своих фантазиях. Скорость произнесения слов очень быстро перестала поспевать за вихрем моих мыслей, поэтому я приспособилась лишь первыми слогами обозначать слова. Понимать меня снова стало трудно. Чтобы избавиться от моей «абракадабры», мама в очередной раз нашла точный ход: повела меня в Дом пионеров, в кружок художественного слова.

С первого же занятия я поняла, что этот вид искусства, то есть я в этом искусстве, вызывает у меня даже какое-то отвращение. Я физически не могла быть в центре внимания. Мне всегда комфортней быть с краешку, как бы на приставной скамеечке. В то время я уже знала, что означает слово «стриптиз». Именно это слово мне в голову приходило для обозначения того, чем приходилось заниматься в этом кружке. Но мама была непреклонна. Занятия в Доме пионеров

проходили раз в неделю, и она специально отпрашивалась с работы, чтобы ну прямо-таки оттащить меня туда, и потом сидела в коридоре, ожидая окончания занятий, а в действительности для того, чтобы я под каким-нибудь предлогом не сбежала раньше. Словом, как я ни ерепенилась, мама своего добилась, и через полтора месяца в меня вколотили вместе с ясной речью еще и умение, как говорится, с большим художественным мастерством читать басню «Ворона и лисица». Басня маму мало интересовала. Ей было важно, чтобы я перестала тараторить. Как только, по ее мнению, это произошло, она от меня отстала, и ненавистный кружок потерял меня навсегда. Умение с выражением прочесть басню легло на полочку рядом с умением делать шпагат и мостик, со знанием, как правильно держать рапиру, и многими другими навыками, приобретенными к тому времени на случай: вдруг что-нибудь когда-нибудь пригодится!

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.